

# ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

**Ш**кольная пора — очей надоеданье! Как она надоела нам в те славные денёчки. Часы между уроками, когда мы ходили в школу, были наполнены невероятным разгильдяйством и полезными делами тоже. Без участия родителей мы бегали в лес. А там — самое содержательное и упоительное, оторванное от нудных уроков занятие настоящими мужскими делами: охота и рыбалка, собирание ягод и грибов, ловчие петли на зайцев и лис, силки на рябчиков, тетеревов и пунашек, глухаринные и тетеревинные тока... Походы на дальние озёра километров за двадцать, ночёвки в лесных избушках, рыбные вылазки за форелью, за кумжей, за щукой и окунем...

Теперь удивляюсь я: как могли наши родители столь безответственно относиться к нашему взрослению, ведь мы были абсолютными шалопаями и могли попасть без родительского пригляда в любую беду.

Думаю, секрет тут прост: на Севере прокормить детей, если их было много, довольно непросто, и родители глядели на подрастающих отпрысков с абсолютно простой логикой: если кто-то из детей умер от какой-то напасти, то других опять Господь даст. Всё просто и понятно. И родители не очень-то заботились об идущих следом.

Конечно, так оно и было примерно лет за пятьдесят до моего рождения, и с годами всё это поменялось. Я рос уже во вполне цивилизованном поморском обществе, отношение к детям сильно изменилось. И все связи между людьми стали более упорядоченными и честными. На основе своих наблюдений могу сказать: деревенский, поморский уклад был сформирован органично и надёжно. Совсем не было воровства, дома никогда не закрывались на замки, не было обмана и чёрного вранья. Во мне эти древние устои

живут неослабно до сих пор. Это мой закон, который я не смогу нарушить никогда.

Одно из самых сильных впечатлений поморского детства и юности — моя первая любовь. Мы знаем — она практически у всех людей, населяющих нашу бренную землю, никогда не бывает счастливой. Не получается у молодых людей впитать в себя это славное, сильное чувство, обязательно поклясться друг другу в любви «вечной» и так и пронести его через всю жизнь. Не получается, потому что оба ещё юны и головы у обоих полны всякой чепухой. Сердца ещё не укрепились в чувствах, жизнь до конца не понята... А тут нахлынет ревность безудержная, а там и желание во что бы то ни стало доказать, что ты главнее и умнее... И молодые люди разбегаются по своим углам. Хотя потом сильно жалеют об этом... Но всё равно разбегаются. Пишу я горькие эти строки, основываясь не на чужих, а на своих ошибках.

Ведь у меня тоже, как и у всех людей, была своя первая любовь.

Её звали Наташа. Случилась она со мной лет эдак в четырнадцать и была на самом деле очень сильной. Ради своей Наташи я готов был прыгнуть с любой скалы, и не прыгнул лишь потому, что на нашем песчаном берегу не было скал. Ради неё я готов был переплыть море, но беда была в том, что другого берега моря совсем не было видно, и я не знал, куда плыть.

Я часто-часто не спал ночами из-за неё, всё мечтал о ней... И боялся подойти к ней и признаться. Но вот однажды она приехала в нашу деревню с долговязым юношей, честно признаться, довольно симпатичным. Мне оставалось только наблюдать за ними, когда они прогуливались по морскому берегу, взявшись за руки, и шмыгать носом от неразделённого чувства.

Но с тех пор я твёрдо уяснил: нельзя ждать милостей от любви. Любовь любит смелых и энергичных. Надо бороться за свою любовь.

Ведь и девушки ждут от нас того же.

## ЗВЁЗДОЧКА МОЯ ЯСНАЯ

Как хороши, как свежи были розы...

*И.П. Мятлев*

**Я**ркие события, надолго или навсегда проникнувшие в нашу жизнь, как правило, состоялись где-то в начале юности, когда маленькие сердца только-только начинают впитывать и воспринимать неведомые ранее ощущения: всегда

сладко-печальные, самые первые, трепетные чувства к какой-то давно знакомой девочке, вдруг ставшей таинственной, а во многих случаях и любимой, неожиданно открывшиеся новые краски облаков и неба, терпкие запахи весны или осени, радость встреч с хорошими людьми, горечь прощания с близкими, нагрнувшее

вдруг восторженное осознание запаха и бесконечности мира... Это всё — самые первые признаки взросления, перехода из одного возраста в другой. Со мной было так же.

Например, я никогда толком не разглядывал полевые цветы. Просто шёл по ним на лугах, ненароком мял, топтал, как это делали все наши деревенские ребята. В мальчишеском возрасте я всё время торопился куда-то — на рыбалку, на охоту, на сенокос... Сердце моё барабанило бравые марши, под них я ритмично вышлёпывал навстречу озёрной глади, неся в руках удочки, торопясь к окуням и плотве. А ромашки, одуванчики и васильки жили в это время от меня независимой жизнью, и вся их неземная краса, все их жёлтые, синие и белые полевые разливы простирались передо мной, мягко окутывали меня, но я их не замечал. Всё это было просто яркими цветовыми пятнами на фоне луговой зелени. Не более того.

Так ведь и в жизни. Мы зачастую проходим мимо славных и добрых событий и людей, не замечая их ценности, и переоцениваем душевность и благородство людей недостойных. Мы большие путаники в этой жизни.

Наверное, это прежде всего касается мужского пола. Всё потому, что мужчины и есть самые большие обалдуи в таких делах. Сердца их более чёрствые, чем у пола противоположного. Часто не замечают они, например, красоты женской, не выказывают внимания к ней, заинтересованности... Не видят, не могут различить даже то, что женское

создание с детства сохнет по ним. Проходит мимо тебя такая с загадочным видом, глаза у неё в разные стороны, туманные... Ну, проходит она и проходит... И девушка так и уплывает от тебя, может быть, от судьбы своей. И ты, и она теряете друг друга. Я только в зрелые годы обнаружил: несколько девчонок, которых знал в детстве, стремились ко мне... Но я прошёл мимо них по неведению моему глупому... Я был слишком юн и неопытен тогда. А бывают случаи просто казусные. Судьба подсказывает тебе: привязанность сердечная была неуместной, и надо просто отвернуться и позабыть! Вот, к примеру, в школе нравилась мне одна девочка, Люда Павлинова. Были у неё совершенно чёрные волосы с синим отливом, и этот небесный цвет, разлитый внутри цвета чёрного, волновал, западал в душу... Она же проходила мимо, не замечая меня. А может, делала вид, что не замечала.

Однажды в сентябре весь класс копал картошку. Привычное это было дело для всех — копание картошки для народного хозяйства. Задание простое: идти за тракторной картофелекопалкой и собирать клубни. Кто наберёт три ящика — тот свободен! Поэтому все поторапливались. Как известно, размеры у всех ящиков разные, и однажды быстро поднаторевший на этом деле глаз лентяистого школьника (меня!) в куче привезённых ящиков мгновенно выделит тару совсем небольших размеров. Маленький ящик — залог быстрого выполнения задания! Я трудолюбием не отличался и скорё-

хонько схватил самый маленький ящичек, потянул его в свою сторону. И почувствовал с другой стороны жёсткое сопротивление. Кто бы это? С другой стороны уцепилась за деревянную посудину — она! Та самая симпатичная, черноволосая, с синим отливом — Люда. Мне надо было отпустить руку, отдать ящик тайной моей симпатии, но не смог я это сделать — желание поскорее уйти домой победило. Тем более, что в детские годы сильные чувства не до конца овладевает юными сердцами. И я сказал ей уверенно и жёстко:

— Людка, отдай ящик!

Вместо того, чтобы повиноваться воле сильного пола, она просто провела по моему лицу сверху вниз кончиками пальцев правой ладони. Просто провела и всё, даже без особого нажима... Тут надо, правда, уточнить: пальцы у Людки были оснащены острейшими ногтями, которые правильнее называть коготками. На моей изумлённой физиономии образовались ровненькие и глубоконькие, идущие сверху вниз полосы красно-коричневого цвета... И я, ошеломлённый, опустил руки. Зазноба же моя, победив меня, с гордым видом унесла красивый трофей в виде ящика для картошки маленьких размеров. И она, а не я ушла домой раньше всех. А я с расцарапанной физиономией убрёл после картошки домой, уплёлся на повесть и там, сидя на заветном огрызке брёвна — чурбачке, впервые задумался о коварстве женщин и о том, как это плохо — носить в сердце безответное чувство.

Но сердечные страдания недолго меня терзали, потому как были они, скорее всего, легковесными. Наверное, Провидение отвело меня от каких-то более серьёзных последствий в будущем: в конфликтных столкновениях Люда Павлинова могла бы вообще оставить меня без глаз, с её-то ноготками и безбашенностью... Она всю последующую жизнь была весьма энергичной дамой и, говорят, с мужьями обходилась довольно круто: все они, как один, хаживали после скандалов с Людкой с расцарапанными рожами. Тогда же, в детстве, судьба подарила мне чувство очень сильное, бесконечно трогательное, в то же время — и печальное, и суровое. По правде говоря, как всем известно, редко, когда первое чувство это обходится без таких испытаний.

Вот она, моя повесть...

Это было привычное для деревни, но не вполне обычное для меня утро. Я шёл в недавно построенную школу, что теперь возвысилась на краю нашей деревни. Справа лежало и степенно колыхалось мелкой волной бесконечное, радовавшее глаз море. Солнце уже изрядно приподнялось над ним, раскидало по всей морской шире утренние розово-жёлтые лучи и, отражённые от лёгких, ершистых волн, расшершавленных шустрым бризом начинающего дня, они разбрызгались по всему сине-белому морскому и всему цветному пространству моей деревни. Бежали по проснувшимся домам, по бережному песку, по одежде и лицам людей, по мне, шагающему с кисловатой

физиономией в новое здание школы, в новый класс.

Радоваться, в общем-то, было нечему: я всегда любил и не любил школу. С одной стороны, она нравилась, потому, как учёба давалась мне легко. А с другой... Я терпеть её не мог. Школа отнимала у меня рыбалку. Налёты на реки и озера с удочками наперевес. А там подвязки и лещи один другого крупнее, там форель и кумжа... Там лесные затемнённые закоулки, полные шустрого зверья, дичи, приключений и всяких тайн, лесные избы, где всё время в тёмных углах прячутся всевозможные таинственные звуки, где по ночам по потолку ползают какие-то кривляки-тени, всегда пугающие, но где всегда так страшно, но и интересно! Я шёл и с грустью осознавал, что всё это у меня отнимается на целый учебный год. Опять тетрадки, учителя, дурацкие, неразрешимые контрольные по алгебре, унылость домашних заданий — весь тот ужас, который именуется учебным процессом. Я шёл в свой первый средний, пятый класс и ещё не знал, чем он меня встретит?

...Перед крыльцом стояла какая-то девчонка. Явно чужая, не наша, не деревенская. Высокая, повыше меня — пятиклассника — ростом, довольно-таки угловатая и голенастая. Коричневое платье, сверху — белый чистенький фартук. Она кого-то ждала. Не подойдя ещё на близкое расстояние, я заметил: была она в той поре, когда школьные девчонки, сверстницы по годам, на глазах начинают преобразоваться, созревать

что ли... Только что носились по коридорам, задирались, дрыгали косичками, за которые так и хотелось подёргать, что я и делал регулярно, получая в ответ звонкие шлепки по различным частям тела. И вдруг в свойских, незамысловатых девчонках образуется некая статья, какая-то загадка... И отстранённость. Они почему-то начинают свысока глядеть на сверстников, уединяться по углам, о чём-то азартно шептаться, тараща сияющие глазки и зыряка ими по сторонам. Меняется их осанка, фигура, пропадает угловатость, они даже меняют свои девичьи формочки: что-то в них округляется, что-то увеличивается... Вот уже и реснички вдруг становятся выразительнее, длиннее, что ли, а глаза превращаются в маленькие, глубокие колодцы, в которых совсем не разглядеть дна... Происходит вечный, довольно скорый процесс взросления девчонки и превращения их в прелестные создания.

А в пацанах, моих одноклассниках, ничего такого не происходит, они ещё долго остаются такими же шалопаями, какими и были. Это я знаю по себе.

Девочку как раз такой поры я и встретил на крыльце нашей школы.

Я толком не разглядел её, прошёл мимо и уже из дверей вернулся. Две вещи заставили меня это сделать. Во-первых, невежливо проходить мимо человека, явно не здешнего и, судя по всему, не знающего куда идти, что делать? Во-вторых, проходя мимо неё, заметил я ненароком: незнакомка была необычайно

симпатичной, и авантюрный дух, присущий мне с малолетства, не мог не заявить о себе. Я вернулся. И обомлел в самом деле: на меня уставились, как мне тогда показалось, громадные глазищи, цвет которых совпадал с раскинувшимся позади неё морским простором — ярко-синим и необъятным. У её глаз был точно такой же — ярко-синий цвет! Светло-пепельные волосы, зачёсанные назад, плотно облегающие маленькую прелестную головку, плюс бледное, слегка продолговатое лицо с лёгким румянцем, тонкая фигурка — всё это создавало восторженно-очаровательный образ девочки моей мечты! Именно с такой хотелось бы мне прогуливаться вдоль нашего моря, взявшись за руки, разговаривать на какие-нибудь приятные темы и вместе с ней мечтать, мечтать... Я был совсем ещё придурком в том моём возрасте.

«У нас в деревне таких девчонок сроду не бывало!» — подумалось мне.

— Здравствуй, — сказал я вполне несмело.

— Привет, — неохотно произнесла она с кисловатой миной, и её большие глаза стали ещё огромнее. В них образовалось что-то вроде лёгкого, совсем лёгкого интереса ко мне. Почти равнодушного. Словно какое-то существо вдруг прибежало к ней из деревни, встало перед ней и вот стоит, разговаривает. Какое-то время я, как дурак, молчал, не зная, какой бы вопрос задать поумнее, но умных вопросов в голове не было.

— Кого-то ждёшь?

А она отвечала с чётко различной подковыркой — ехидна та ещё, наверное:

— Да, жду. А тебе какое дело?

Мне надо было бы взять, да и уйти: не люблю я всяких подковырщиц. Но чего-то меня тормознуло. Необычная она, красивая...

— Я вижу, ты не деревенская. Заблудилась, может...

— Жду я девочку одну, подругу.

Ну, ждёт и ждёт, а я тут ни к селу, ни к городу. И я убежал в свой первый средний класс. Вот такой была моя встреча с Катей Кряжевой, моей первой любовью.

А вечером, за ужином, старшая сестра Лида вдруг повела разговор о какой-то девчонке из их класса:

— Она из Ленинграда приехала... Умница такая — разумница. Мама у неё в больнице с туберкулёзом, из нашей деревни родом, отец — радист на контейнеровозе в заграничку ходил, умер неожиданно два года назад... Пришлось девочке к нам в деревню ехать, к бабуле своей, Феклисте Селивёрстовне. Сейчас у Катки ни отца, ни матери...

Пошли тяготные школьные дни, недели, месяцы, четверти... Уроки, тройки, четвёрки да и пятёрки тоже — я сносно учился. Но жил тогда вольготно, безвекторно, так сказать, серьёзных стимулов для отличной учёбы не имелось никаких. Жизненная установка, конечно, была, но она тускло просвечивала где-то в туманной дали: по совету первой учительницы вознамерился я поступать в суворовское училище,

а это лишь после восьмого класса. До его окончания ещё бежать и бежать — дистанция в четыре года! Я стопроцентно знал: за такой срок смогу выстроить любые оценки. И самым наглым образом лентяйничал на уроках, получая нарекания от учителей и выслушивая грозные родительские наставления. Тем более в моём боевом арсенале имелось множество других увлекательных занятий: ловля куроптей в силах, походы с отцом на дальние озёра, где в глубинных коряжниках почивал жирнющий налим, а ближе к весне — косачи, глухари, рябы... А в школе... В школе появилась забота-заботушка — и сладко-радостная, и счастливая, и томительная до невозможности. В школе я был влюблён! Конечно же в неё — в Катю Кряжеву.

Увлечение это началось с рассказа сестры, из которого получалось: Катя — безотцовщина, родитель её умер в морских походах. Кому не жалко сиротинку! Я по ночам просыпался и подолгу ворочался, с ужасом представлял себе: вдруг лишился бы отца или матери — чтобы я делал? Это же тоска смертная, я вряд ли бы её пережил. Куда без родителей? Всё равно, что потеряться в лесу и обитать в нём без самой близкой поддержки. А кругом зверьё да лешии. А они ещё хуже всякого зверья... В лесу без родителей нельзя, всё равно — кто-нибудь да сожрёт. Среди людей тоже без родителей трудно, сироту и обидеть могут... Надо бы её защитить как-то..

И я придумал быть к ней поближе. В классах мы с ней разных,

но вот на переменах старался держать Катю в пределах видимости. Поглядывал, как бы не обидел кто ненароком. Деревенская ребятня — хульганьё страшное. Хотя и побаивался я, конечно: вдруг с громилой каким-нибудь придётся сцепиться, накостыляет он мне самому, защитнику. У нас такие крепкие ребята водились.

Но однажды подглядел я такую картинку: её, может, и нечаянно, но сильно толкнул Колька Веснин, отчего Катя отлетела к стенке. Не извинился. А она держала портфель в правой руке... Колька превратился вдруг в боксёрскую грушу, в мешок с опилками, её же рука стала чем-то вроде лопасти ветряной мельницы, закружилась в воздухе колесом, а портфель ритмично и сильно стал падать то на голову Кольки, то на другие болезненные его места — Катя так настучала его портфелем, что Веснин сам стал стучаться об эту стенку и заорал что-то громкое и невнятное, из чего можно было понять только то, что он сдаётся и просит прощения, причём — немедленно.

И я подумал тогда: зачем этой боевой ленинградке моя помощь, если она сама полкласса отметелит, если потребуется. И я перестал её охранять.

Но вы только представьте такую вот метаморфозу: моё чувство жалости к Кате переросло... в любовь к ней. Я ведь ни разу не испытывал её, эту самую любовь, она появлялась только в кино и в книжках, но там говорилось всё о ком-то другом, а тут она припёрлась, эта штуковина,

и поселилась во мне самом. С чего всё это началось, я не помню точно из-за давности лет. Скорее всего, с запаха, вдруг проникшего в меня однажды в школьном коридоре и явившегося для меня сильным потрясением. Дело было так: перед уроком истории я держал перед собой учебник и пытался вникнуть в ход исторических процессов, в результате которых произошла великая пролетарская революция — так частенько бывало, когда дома предмет не готовил и ничего не читал, а тут надо держать ответ. Скоро-наскоро, наспех схватываешь обрывки каких-то событий, с трудом отправляешь в память фамилии неких героических людей, их имена... И идёшь на урок, на очередное позорище, ничего не успев запомнить, потому что наспех история не запоминается. Так вот я стоял перед классной дверью и лихорадочно листал учебник истории. Передо мной вдруг кто-то остановился, я поднял глаза и увидел её, Катюшу Кряжеву. Она стояла и хлопала синими глазами. Я чуть сознание не потерял от неожиданности...

— Павлик, а где Лида, сестрёнка твоя? Её почему-то нет на уроках, а она мне нужна.

И она сама, и слова её плыли в каком-то тумане. Наверное, я в самом деле на какое-то время тогда потерял сознание. Увидеть Катю так близко... Разговаривать с ней...

— Дома она, заболела,... — пролепетал я.

— А-а, ну ладно, увидимся завтра.

И Катя ушла. Казалось бы, никчёмный разговор. Но он меня

потряс и на всю жизнь остался в памяти. Почему? Потому что я впервые в жизни вдохнул в себя удивительно-чарующий запах женщины. Она, конечно, не была ещё никакой женщиной, шестиклассница Катя Кряжева, но запах от неё исходил абсолютно женский! Никогда раньше я не мог себе представить, насколько он восхитителен и волнующ, этот запах! Очаровательная смесь ромашек, мать-и-мачехи, ещё каких-то полевых цветов и аромат чистого женского тела... Наверное, этот сладкий женский дурман, впервые пробудил во мне — мальчишке — что-то мужское, он меня потряс! Отчётливо помню, как у меня в тот момент вспыхнуло нестерпимое желание уткнуться лицом в этот аромат, раствориться в нём. Уже будучи взрослым, я понял, что так может пахнуть только любимая женщина! Я не сразу осознал свою влюблённость. Но почему-то вдруг на переменах начал, держа в руках открытый учебник, намеренно слоняться по коридору около её класса и в тех местах, где она прогуливалась с подружками. При этом делал вид, что старательно читаю свой учебник. На самом деле, я ждал её. Обычно она долго не появлялась. Какая-то глупая причина держала её в классе. А, может, мне просто так казалось, ведь я изнывал оттого, что она не выходит! И вдруг... словно вспышка света, словно взрыв воздуха! Распахивалась дверь класса, и на свет Божий выскакивала она! Обязательно с какой-нибудь подружкой или с моей сестрой Лидой. Они мчались ку-

да-то... Я за ними никогда никуда не мчался — это было бы уж совсем... Ниже моего достоинства: не мужик, а хвостик какой-то...

Но умчаться куда-нибудь вместе с Катей страшно хотелось. Но почему-то я боялся её, по-дурачки страшился подойти к ней и заговорить. Я не знал, о чём можно говорить с девчонкой, сильно тебе понравившейся... Делал несусветные глупости: выскакивал вдруг, будто нечаянно, из-за угла навстречу ей и проходил мимо с каменной физиономией. Для меня было неописуемым счастьем просто прошмыгнуть мимо неё, поглядеть, как бы ненароком, лишь бы хоть глазком увидеть её вблизи. Я любил её! По-глупому, по-мальчишески, но честно. Я похудел, стал гораздо хуже учиться. Учителя не понимали, что со мной происходит. Родители тоже. Я уходил из дома к морю, устраивался на брёвнышке около самой воды и под плеск набегавших волн пел грустные песни, посвящённые моей любви. Особенно трогала меня песня про то, как молодой боец упал возле ног боевого коня и закрыл свои карие очи... Иногда я плакал под свои песни, и слёзы мои были горестными от жалости к погибшему бойцу и светлыми от светлой моей любви. А сестра Лида, прекрасно всё давно распознавшая, всё давно визнавшая, выговаривала мне:

— Чего ты, Пашка, как дурачок какой-то, ходишь вокруг да около, подойди к Катьке да и признайся, мол, дружить с ней хочешь. Она с тобой охотно подружится, я ведь знаю.

Хорошо бы, но это было совершенно невозможно: я страшно трусил. Одно только нахождение поблизости с ней вызывало бешеное сердцебиение, а тут — подойти, заговорить... Всё это не соответствовало слабым моим душевным силёнкам! Я извёлся весь. Как-то раз увидел на её лице слёзы. Катя вдруг ушмыгнула из коридора, неожиданно так, быстро, и я потерял её. Пошнырял по коридорам, заглянул в какие-то двери. Потом догадался выйти на крыльцо. Она стояла, прислонившись к перилам, в уголке крыльца. Отвернувшись от возможных глаз. Холодил ноябрь, сквозил с северо-востока борей и продувал мой пиджачок. А она в платьице стоит, и плечи её трясутся. Утирает глаза ладонью... Как же мне тогда захотелось подойти к ней и обнять за трясущиеся плечи! Мне надо было бы сделать это, надо! Но я опять трусил. Подошёл, встал сбоку и глядел, как она плачет. Как вздрагивает её носик. Наверное, у неё куда-то запропастился носовой платок, и она промокала глаза кончиком фартука. Как же я жалел её, мне тоже хотелось разреветься. Я не мог спокойно и отчуждённо смотреть, как сильно печалится такой родной для меня человек.

— Тебе помочь? — только и спросил я, наверное, искренне спросил. Она глянула на меня мокрыми и красными от слёз глазами, и тут я увидел! Я разглядел совершенно отчётливо: ей тоже хочется прильнуть ко мне... Может быть, от холода или от желания разделить с кем-то нава-

лившуюся на неё печаль? Или мне это просто показалось тогда? Ничего Катя мне не ответила, лишь как-то горестно, с надрывом попросила:

— Принеси мне портфель, Павлик. Я пойду. Нельзя мне в класс сейчас.

Конечно, просьбу эту я мигом исполнил. Ворвался в её класс, не обращая внимания на то, что хозяйничаю на чужой территории — в классе у старшеклассников, запихал в Катин портфель лежащие на столе учебник, какую-то тетрадку, ручку... В раздевалке захватил пальтишко её, холодное, совсем не для такой, уже поздней поры, платок цветастый и шарфик из тонкой шерсти... Сидел я на уроке потом и всё размышлял, всё думал: отчего плакала она, кто посмел её обидеть? Пусть он в сто раз сильнее меня, этот придурок, но я бы не побоялся и надавал бы обидчику по роже, всё равно бы надавал...

И ещё голову дурманил взгляд её — беспомощный и чего-то просящий. Может быть, защиты? Поддержки? Я бы всё отдал, чтобы обеспечить её тем и другим. В моих душевных терзаниях проходила та суматошная зима. Я кое-как учился, сердечные страдания выбили меня из обыкновенного ритма. Во все школьные годы обычная, размеренная учёба всегда приносила удовлетворение, а теперь всё поменялось, ничего у меня не ладилось, всё шло шиворот-навыворот, голова моя заботилась только об одном: увидеть вновь девочку из шестого класса — Катю Кряжеву! По ночам я плохо спал, и целы-

ми днями — сидел ли я за партой, брёл ли по школьному коридору — в голове царил полумрак и ворочалась лишь одна только мысль — только о ней! Катя стала моим навяждением. Я сочинял о ней какие-то придурковатые стихи, и, когда шёл в школу, точно также — когда брёл из школы, я громко их декламировал. Мои односельчане — деревенские жители, наверняка считали: «паренёк этот кокнулся умишком» и, впрочем, оставались недалеко от истины. Стихи мои были немного печальны, глубоко искренни и проникновенны:

Катюша, драгоценный мой цветок,  
Теперь тебя я точно не забуду!  
Ты счастья подарила мне глоток,  
Любить тебя я вечно теперь буду!

Сейчас, глядя на эти строки, я бы не решился обозначить их какими-то приличными словами, тогда же мне они казались поэзией, довольно точно отражающей мои светлые чувства.

По воскресеньям, когда в школе не было занятий, я, тем не менее, стремился быть к ней поближе, чтобы, хотя бы просто знать, что она где-то рядом. Дом, где она жила с бабушкой Феклистой, стоял окнами на море, точно также, как и мой дом, и я взял в привычку ходить на лыжах по берегу вдоль замёрзшего моря с одной стороны и деревенских домов — с другой и вглядываться в её окна, чтобы хоть краешком глаза, хоть на мгновение разглядеть её в каком-нибудь из них. Я останавливал-

ся напротив Катиного дома, снимал лыжи, втыкал задки в снег и ковырялся в креплениях, старательно делал вид: сломались они, порвались — нарушились, в общем... Но Катя ни разу не появилась ни в одном окошке, и я бесцельно всматривался в пустые оконные глазницы. Всякий раз сильно переживал сердечные неудачи. Отворачивался к морю и долго бестолково рассматривал бесконечную ледяную пустыню, и щёки мои всегда холодили слёзной сыростью... Лишь потом понял я причину постоянного отсутствия Кати в окошках: они с бабушкой не жили зимой в холодной «морской половине»: в их доме, как и у всех деревенских бабушек-вдовушек, потерявших кормильцев своих — мужичков-старичков на загогулистых жизненных тропках, живших поэтому без мужского хозяйского пригляда, водилось маловато дров, и они берегли их, маленько скупердяйничали и не спешили тратить драгоценные дровишки на необязательное тепло в необитаемых «передах». Им вдовсталь хватало просторной и всегда тёплой кухни.

Но холода, как и всё сущее на этой земле, не вечны, когда-нибудь они также кончаются — как осень, как лето, как цветы. Пришло и в нашу деревню тепло, разогрело шиферные крыши, стало проникать и в жилища, согревать бока и спины людей. И Катя начала выводить старенькую бабушку Феклисту на «улку», на нагретое первыми лучами крылечко. Посиживали они, две «деушки», как любящие друг дружку подружки —

старая да малая, переговаривались вполголоса, ворковали тихо о чём-то своём, девичьем...

Я поглядывал на эти их посиделки в отцовский бинокль. Лежал на макушке высокого штабеля из строевых брёвен, что громоздился посерединке песчаного морского берега напротив моего дома, разглядывал двух этих кумушек и страшно завидовал бабушке Феклисте: она болтает сейчас с моей любимой девочкой о чём ни попадя, а вот я — не могу этого делать.

Надо сказать, весной я отвлёкся маленько от моей неотвязной страсти. Мы с отцом, когда по лесам и болотам расшумелся, разгомонился гвалт прилетевших птиц, стали убрывать на глухаринные и тетеревиные тока, проводили ночи в лесных дебрях. Папа мой до беспамьяства обожал эту завораживающую охоту на лесную дичь и передал любимую страсть мне, своему отпрыску. Взять хотя бы косачинный ток, всегда шумно звенящий на мхах да болотах. Мы с отцом приходили к нему далеко затемно и начинали строить «караулку» — охотничью шалашку. Рубили поодаль молодые сосенки, волокли их к месту будущей нашей засидки и одну за другой, втыкая густо обросшие хвоей стволики в подтаявший мох, связывая верхушки сосёнок капроновой бечевой, выстраивали вполне сносное разлапистое сооружение. Потом, ещё в глухую темень, задолго загодя до начала рассвета, мы усаживались в шалашке спиной друг другу и слушали таинственное окончание ночи и разглядывали ча-

рующий восход. Где-то далеко, по краю огромного болота, вдоль чёрных в эту ночную пору сосновых борков, вышагивал лось. Всё широкое тёмное пространство, вся живущая в тот момент на болоте живность слышала его грузные шаги. Сохатый гулко гремел ломающимся под его копытами свежим тонким ледком — «утренником», покрывшим в конце ночи всю болотную поверхность, хрустел сухими сучьями... Протяжно кричала какая-то ночная птица. И звал в темноте подругу вечный недосыпа — куропоть.

— Как-ка-ка-как! — кричал он на всю болотную ширь. И ещё кричал, и ещё. Пока не разбудил-таки милую подружку — куропатку. Она ответила кавалеру страстно и призывно:

— Ня-а, ня-а!

Вот послышался шум крыльев птиц, летящих друг к другу... И всё ненадолго стихло. До прилёта взбалмошных, шумных тетеревов. В святые эти минуты трепетного ожидания я закрывал глаза и видел в сумрачном мареве идущую по мху Катю. Она проходила мимо восторженных, ошалевших от любви куропаток и плыла куда-то по мягкому мху далеко, к тёмному горизонту... Потом вдруг, одновременно с разных сторон — шлепки крыльев, громкие, резкие.словно по чьей-то команде, посланной неведомым руководителем, с разных сторон к месту токовища слетаются косачи. Они с налёта плюхаются на мох. Один, другой, третий... Вот уже в разных концах от шалашки, еле видные в утренних сумерках, по тёмному про-

странству болота медленно движутся белые пятна тетеревиных хвостов. Отовсюду, словно музыка бегущей воды, бесконечно волнительная для меня, звучит громкая симфония тетеревиного тока! Как бы я мог бросить такие вот волнующие моменты! Не смог бы никогда! Весной я почти не спал, мне некогда было спать. Сидел на уроках, ничего не соображая. Худющий и сонный.

В эти волнительные минуты я, прижавшись к тёплому отцовскому боку, отчётливо представлял себе — рядом с нами сидит белокурая девочка с миловидным лицом, рассматривает дерущихся петухов, волнуется и слабо улыбается мне: ей нравится этот птичий концерт! Я очень бы хотел, чтобы Катя Кряжева сидела сейчас рядом с нами и вместе с нами восторгалась бы красками и звуками пробуждающейся природы...

Потом сама собой закончилась последняя четверть. Пришло лето. Однажды сестра Лида отозвала меня в стороночку и сообщила с таинственной улыбкой:

— Катя уезжает домой, в Ленинград, хочет с тобой поговорить.

Вот это да! Сердце моё заколотилось. Не было ещё такого!

— Вместе со мной, конечно, — добавила сестра. Потом Лида договорилась с Катей, чтобы мы устроили ей проводы. Это мероприятие состоялось на следующий день на Жёлтой Гриве — горе, нависающей над морским берегом, в дальнем конце деревни. Отсюда распахивался бескрайний простор с силуэтом под-

водной лодки на горизонте. Лодка отработывала ходовые испытания и ходила, и ходила на траверзе нашей деревни. А мы втроём сидели у костра, кипятили чай и пили обжигающий напиток на брусничных и черничных листьях. Девочки обсуждали какие-то новости, судили-рядили о чём-то своём, девичьем, мало мне понятном, а я сидел рядом и не знал, чего сказать, о чём мне можно говорить, а о чём — не стоит: девчачий разговор был всегда мне совершенно непонятен, как и любому деревенскому парнишке.

Я никогда так близко не находился с Катей, так долго не разглядывал её, не боясь столкнуться взглядом, не сконфузиться. В этот раз всё было гораздо проще и свободнее, и всё же я почему-то побаивался её. Открытой беседы с ней никогда раньше не случилось, ведь я разговаривал с Катей лишь в моих тайных грёзах. А тут к ней можно, хоть как-то случайно, будто бы ненароком, прикоснуться, может быть — даже погладить руку... Да куда там погладить? Я даже поглядывал на неё искоса, с опаской, я боялся: она заметит, как у меня дрожат глаза... Я слишком её любил.

— Павлик, ты сказал бы чего-нибудь, а то всё время молчишь?

Я вздрогнул, встрепенулся и уставился на Катю. Но тут же глаза опустил и ничего не сказал. В тот момент я забыл все слова. Она говорила в тот вечер, а потом и в наступившей белой ночи, окутавшей нас прозрачной светлой вуалью, что очень любит маму, только что, наконец, выписавшуюся из туберкулёзного диспансе-

ра, расположенного где-то около Выборга. Сейчас она дома и ждёт дочку в Ленинграде. Ещё она бесконечно обожает бабушку Феклисту, у которой жила всю зиму.

— Как же я брошу её? Она ведь одна останется! Старая, больная...

Катя говорила о них, родных для неё людях, и плакала. О матери — плакала от радости: излечилась она и вернулась домой, а о бабушке — от печали по ней.

Вот так мы поговорили. Когда настала полночь — светлая, белая, поморская полночь — пришло время прощаться. И Катя опять загрустила — ей не хотелось расставаться с нами. Вытерла платочком краешки глаз и вдруг подошла ко мне. Она присела рядышком, обняла меня за плечи и прижала к себе, поцеловала в щёку. И сказала:

— Спасибо тебе, Паша, за всё-за всё-за всё!

Я так тогда и не понял, за что она меня благодарила. Но поцелуй тот, случайный, быстрый, странный, остался и сохранился в памяти яркой, ослепительной вспышкой, осветившей радужным светом мою юность. Она и теперь в памяти, та вспышка. Хотя не столь яркая, как в те давние годы.

Когда Катя уехала, я всё стремился написать ей письмо. Только ничего не получилось у меня. Несколько раз брался, но слова не получались такие, какие нужно, и не склеивались между собой. Они словно прятались от меня, разбегались в разные стороны, расползались по щелям, по всем домашним дыркам, и я ничего не мог с

ними поделаться. Сердце моё настолько любило её, так стремилось к ней, что слова, известные мне, не могли выразить моих чувств к ней, все казались никудышными, пустыми, глупыми. Нужные слова не приходили ко мне, деревенскому мальчишке, потому что мне хотелось бы выразить что-нибудь возвышенное, соотносимое с моей высокой любовью. Но таких слов я ещё не знал тогда. В общем, так я ничего и не написал. Только лунными вечерами я снова и снова выходил на морской берег и прямо туда, в морской простор, в голомень, выпевал, выкрикивал слова стихов и песен, обращённых к ней... И каждый раз светила мне повисшая над восточным горизонтом крупная и яркая звезда, названия которой я не знаю. Она будто прислушивалась ко мне, эта ясная звёздочка, и, как мне казалось, меняла свои цвета в зависимости от уровня моего исполнения, от моего настроения и от искренности пения, обращённого к ней. И представлялось мне, да нет, я твёрдо знал: звёздочка, к которой я обращался со своими песнями — это и есть Катя, моя любимая девочка, уехавшая от меня в Ленинград. Это она передо мной висит в небе, слушает меня и светит мне.

Потом я поступил в Суворовское военное училище. Конечно же, в Ленинградское, в какое ещё я хотел бы поступить?

Весь первый курс, то есть девятый класс, я почему-то ждал её. Мне казалось: вот сейчас, вот-вот сейчас раздастся звонок дежурному по моей первой роте, и его попросят

пригласить на КПП суворовца такого-то, чтобы он в срочном порядке мчался туда, так как его посетила юная особа необыкновенной красоты... Мне не надо будет долго объяснять, кто она такая, как её зовут. Я сразу пойму: это пришла ко мне она! Я сильно хотел, чтобы эта девочка, живущая в красивом городе, привыкшая к красоте, увидела меня в новом качестве — в красивой форме суворовца, в алых погонах, в лампадах! Чтобы она, зная меня раньше лишь как деревенского парнишку, теперь изменила бы ко мне отношение и поглядела бы на меня другими глазами. Как на вполне уважаемого в обществе молодого человека.

Но Катя долго не приходила, и душа моя изнывала от ожидания. Я просто-напросто не понимал и отчего-то не в силах был сообразить: она обо мне совсем ничего не знает. Даже и знать не ведаёт, что я живу с ней в одном городе. И жду её! И, вы только представьте, однажды она пришла ко мне сама! Вызвала меня через дежурного по училищу. Сказали — на КПП ждёт сестра, и я опешил: не договаривались мы с сестрой Лидой о встрече посреди учебной недели. Сестрёнка моя к тому времени училась на втором курсе пединститута имени Герцена, и мы с ней договорились встречаться по воскресеньям. Она заходила за мной в десять утра, и мы с ней двигали к земляку-родственнику Филиппу Павловичу Федотову, жившему около Нарвских ворот, или в парк Тридцатилетия комсомола — кататься

там на лодках, или, ежели стояла плохая погода, к ней в студенческое общежитие на Новоизмайловский проспект. Надо себе представить, что я испытал, когда увидел на КПП Катю. Она улыбалась и шла мне навстречу. Я чуть не потерял сознание, а, может быть, и потерял его, сейчас уже точно не помню. Впервые в жизни чётко прочувствовал я, что такое «ватные ноги». Они действительно превратились во что-то мягкое и неустойчивое. Меня запокачивало. Я стоял, как истукан, и не знал, что сказать, что же теперь делать? Катя — как тогда, на холме, сама подошла и чмокнула меня в щёку. От неё пахло весенними духами. Я ни тогда, ни сейчас не представляю, что такое «весенние» или же «летние» духи, но от неё исходил запах именно весенних духов. Может быть, сама Катя пахла весной?

— Здравствуй, Павлик! — сказала она с весёлой интонацией и засмеялась также искренне и звонко. Я любил её, я не переставал её любить. Опять всё вспыхнуло во мне, закружило голову... Она снова влетела в мой мальчишеский мир, будто цветная бабочка из пёстрого городского мира, и принесла на губах воздушный поцелуй от этого, пока не вполне понятого мною, но уже любимого пространства. Теперь понимаю: я полюбил этот город за то, что в нём жила она. Она глядела на меня восторженно распахнутыми синими глазами.

— Как я рада видеть тебя! — громко радовалась она и шмыгала простуженным носом. А я почему-то

мямлил. Когда она находилась рядом, я всегда мямлил, не знал, чего и как сказать. Я был полный дурачок с ней. Странно, я так ждал её, но в тот момент нашей встречи я хотел, чтобы она быстрее ушла: рядом с ней я задыхался от неловкости и растерянности.

— Проходила мимо вашего училища и заскочила вот ненароком. Прости, что наспех всё...

— Приходи ко мне в воскресенье, Катя, буду тебя ждать, — наконец разразился я такой вот длинной фразой. Сказал я это искренно, и она мою искренность почувствовала, часто-часто закивала головой:

— Обязательно приду, Павлик, обязательно.

Потом она облегчённо вздохнула, будто сбросила с плеч нелёгкий груз и тихо произнесла:

— Ну, всё теперь... Всё.

Улыбнулась какой-то чересчур строгой улыбкой и потрепала мою не отросшую пока причёску:

— Учись, солдатик, учись хорошо. Буду следить за тобой. Скоро к тебе приду.

И она ушла. Она не пришла ни разу в том учебном году. Хотя я её очень ждал. Очень.

Вот и закончился первый курс Ленинградского суворовского военного училища. Я закончил год с одной тройкой по алгебре. Проклятая алгебра никак мне не поддавалась. Я потратил уйму времени на неё, ночами над ней сидел, а тройка эта словно прилипла ко мне. До последнего курса ничего не мог с ней поделать. Наступило долгожданное лето,

и кадеты поменяли зимнюю форму на летнюю. С конца весны мы носили льняные серо-белые гимнастёрки. Алые погоны с надписью «Лн. СВУ» посерединке каждого, чёрные штаны с красными лампасами всех нас делали красавчиками. Наверное, даже меня, деревенского увальня. К концу года стал я замечать: на ленинградских улицах девчонки стали стрелять по мне очаровательными глазками. В самом деле, сочетание белого, чёрного и красного цветов, наверное, весьма привлекало девичье внимание. В таком вот виде я уехал из города Ленинграда в родную мою деревню Лопшеньгу. Счастливый ветер свободы от казарменного кадетского быта дул во все мои паруса! Я ехал домой! Из Архангельска, куда я, согласно воинскому требованию, добрался бесплатно в плацкартном вагоне, в родную деревню можно попасть на самолёте Ан-2, именуемом в просторечии «кукурузником», или на пассажирском теплоходе «Мудьюг». Лететь на самолёте оказалось несподручно: надо доплачивать какую-то серьёзную разницу между существующими тарифами, а я — юный суворовец, был, так сказать, некредитоспособен, потому как ехал без копейки денег. Родители послать деньги не успели, в силу моей нерасторопности: я ничего им не сообщил о финансовых проблемах, в городе у тёти просить показалось неудобным. Поэтому я решил ехать по воинским документам на теплоходе, в самом дешёвом третьем классе. Теплоход долго — сорок километров — идёт от Архангельска

до моря по Северной Двине. Этот отрезок пути с самого глубокого детства, пока теплоходы возили меня и всю нашу семью из деревни в город и обратно, я любил за плавное течение большого судна по красивейшим местам медленной реки. Всякий раз долго стоял я, опершись о борт, и смотрел, смотрел на берег. Мне нравилось разглядывать чужую жизнь, до той поры совсем неизведанную мной. Я глазел на цветные деревни, дома, огороды, лодки, сгрудившиеся вдоль берегов, на неизвестных мне людей... Интересно было узнавать, как люди живут в этих местах, какую одежду носят, что у них растёт в их огородах? Вон хозяйка идёт с лопатой, там коровы пасутся, там мальчик бегает с рогаткой, а в той стороне по холмам бродят трактора и что-то там боронят... Всегда любопытно познать другую жизнь и определить, есть ли разница в этой, другой жизни и моей, деревенской?

Гораздо позже, вдосталь помотившись по белу свету, наглядевшись на те и другие места, я понял важную для себя истину: народ-батюшка на Руси-матушке живёт везде одинаково — ни шатко, ни валко, ни хорошо, ни плохо, а так: живёт-поживает, да добра наживает. По усам у него течёт, а в рот всё не попадает и не попадает. Всё же разница во впечатлениях, конечно, имела место, и немаленькая. Здесь, на реке, не хватало моря! Его простора и величия, штормов и штилей, морских видов и красот. Того, с чем я родился и вырос.

Это я хорошо тогда понимал, и мне было немного жалко этих людей,

обитающих на речном берегу. Природа серьёзно обделила их, лишив радости жить рядом с большим водным пространством. Сев на теплоход в этот раз, я заскочил в каюту, и, как всегда, разочаровался в ней. Там, внизу, было довольно темно и сыровато, пахло чем-то удушающе-спёртым и тяжёлым — типичным запахом кают видавших виды кораблей, всегда переполненных людьми. Мне не хотелось проводить здесь ночь, на койке, расположенной в самом углу каюты, и слышать, как на стоянках в поморских деревнях гремит и лязгает о металлический корпус тяжёлая якорная цепь. И не даёт спать.

И я убежал из неюта каюты в свежий день, на солнышко, на палубу.

То, что я увидел, вызвало оторопь, столбняк, шок! Передо мной стояла Катя! Но была она не одна, а с каким-то высоким и симпатичным молодым парнем. Тот выглядел заливчатски: модно, щегольски одет, замшевая светло-коричневая куртка, белые штаны и замшевые туфли с отвисающей над каблуками бахромой. Пара выглядела потрясающе: красавица Катя и этот, словно явившийся с журнальной обложки, молодой человек! Среди сероватой, откровенно деревенской публики, они смотрелись просто эффектно.

Удрать обратно в каюту я не успел. Катя меня тоже увидела. Она открыла рот, и, пока я к ним подходил, так его и не закрыла.

— Павлик! — прошептала она.

В этот раз я оказался посмелее. Не знаю почему. Может, оттого, что я был в погонах, ведь люди в погонах

должны отличаться от других решительностью! А, может, просто от безысходности?

— Здравствуй, Катя, — сказал я твёрдо и сам протянул руку красивому парню. Я знал уже тогда: именно так следует знакомиться и нельзя первому протягивать даме руку.

— Павел, — проговорил я бодро, стараясь привнести басовые нотки в мою разговорную интонацию. Мне казалось — мужчины с крепким голосом выглядят солиднее. А парень широко, как-то так по-доброму, по-простецки улыбнулся мне и тоже протянул ладонь.

— Саша, — представился он, — можно просто Сашка.

Мне это понравилось. В ту бело-беломорскую ночь, под плеск разбиваемых теплоходом «Мудьюг» волн, мы крепко напились в зыбких морских просторах с хорошим парнем Сашкой. Какого-то дурного вермута, который с тех самых пор откровенно ненавижу. Его где-то достал Саша, две бутылки. Я первый раз напился до отключки. От безысходной своей любви, на глазах улетающей от меня, уплывающей...

Саша тоже напился, но не в такой степени, как это получилось у меня. Он ведь был старше меня и крепче. Они с Катей донесли меня до моей койки.

Зачем я напился тогда, я не знаю. Наверное, мне очень не хотелось, чтобы от меня уходила моя любовь. А она уходила. На моих глазах. Со всем уже безвозвратно. И я ничего не мог с этим поделать...

Мы уже полмесяца жили в одной деревне. И я за всё это время ни разу

не видел ни Катю, ни Сашу. Гостили они у бабушки Феклисты и почему-то нигде не объявлялись. Будто спрятались у себя в избушке, словно в норке сидели, и на белый свет носа не показывали. И вот тебе — пожалуйста! Ко мне домой заявился студент Александр.

— Павел, по морю прокатиться хочется на лодочке. За вёслами посидеть.

Пока я готовил к морскому походу отцовскую дорку, Саша сходил за Катей. И пошли мы на моторе навстречу несильному ветру и полуденному солнцу прямо в морской простор. Нос карбаса шлёпал по волнам, дробил их, и брызги веером разлетались в разные стороны. В россыпях мириада капель умывалось солнышко, украшало их широкой разноцветной радугой. Другая такая же радуга бежала по другую сторону карбаса. Мы плыли в переливах света, и это выглядело, наверно, красиво.

Саша и Катя, сидящие на передней банке, отвернулись от меня и глядели на бегущий к ним навстречу морской простор. А я притулился рядом с мотором, и, держа в руках шест-рулёвку, вёл дорку в море, в самую его даль. Мне сильно хотелось уплыть куда-нибудь подальше, в морскую голомень.

На мои глаза студент обнял Катю за плечи, и она прижалась к нему доверчиво и, как мне показалось, очень нежно, положила голову ему на плечо. Они стали одним целым. Потом они стали целоваться. Наверное, у меня должно было бы остановиться сердце в эти минуты.

До этого я всего лишь полагал: ну, дружат люди, отдыхают вместе, чего тут такого? Приехали и отдыхают... А тут до меня дошло: они живут, живут как муж и жена... Я пережил тогда тяжёлые минуты в жизни, ведь я до сих пор всё также любил Катю.

И подумал я: что же мне делать теперь со своей глупой любовью? Что мне теперь делать? Они целовались, а я всё правил карбас в море. И он летел, унося нас вдаль. Летел он уже бесцельно, в его движении вперёд отсутствовал какой либо смысл. Это было крушением всего, чем я жил в последние годы. В тот момент я напоминал человека, на которого сверху, ни с того, ни с сего, обрушилась громадная куча дерьма и завалила с головы до пят, и я пропал под этой кучей, просто исчез — и всё. Ещё какое-то время я, сторбленный и придавленный, сидел на корме, держа в руках руль. Скорее всего, на какие-то мгновения сознание покинуло меня. Я не мог смотреть, как они целуются... А их совсем не интересовали мои эмоции, до меня им не было никакого дела. Для парочки существовала только их любовь! Мир это знает: любовь всегда эгоистична... Пусть и медленно, но сознание вернулось ко мне. Я налёг на руль и стал разворачивать лодку. Катя и студент встрепенулись, подняли головы и Александр крикнул мне:

— Что-то случилось?

— Бензин кончается, — прокричал я в ответ. Они опять от меня отвернулись, студент обнял её, и они снова занялись привычным делом.

В совершенном тумане я подвёл лодку к берегу и высадил их. Они что-то говорили мне, я ничего не слышал... Я не различал предметов, карбасом управлял «на автомате», словно робот. Море, дома, берег — всё плыло в виде размытых, бесконтурных форм. Брошенная на берегу лодка, выползающие из уключин вёсла... Песок под ногами, похожий не на песок, а на разбросанную по земле вату... Сквозь шум в ушах — оглашенный лай собаки, детский дискант... И плач, долгий, протяжный плач чайки в невысоком небе, смахивающий на горькие стенания обиженной каким-то злым человеком и поэтому рыдающей девочки. И мама у крыльца с обеспокоенными глазами, трогающая мой горячий лоб, вопрошающая:

— Пашенька, сыночек, что с тобой, мальчик мой?

И прибранная мамой кровать, подушка... Я уткнулся в неё лицом... Помню, в ту ночь я совсем не спал. И никак не мог подняться следующим утром. Меня сковала боль во всём теле. Потом боль моя прошла...

Первая близость с женщиной случается у каждого по-разному. Но все мужчины помнят её до самой смерти. У меня это состоялось до примитивности просто, даже буднично как-то. Не было гуляний с любимой девушкой под луной, соловьёв, запахов скошенной травы... Получилось всё так. На осенних каникулах в десятом классе суворовского училища я поехал, как всегда, домой, в Лопшеньгу, и по дороге маленько застрял в Архангельске у тёти моей лю-

бимой, Павлы Андреевны. Жила она поживала в знаменитом городском районе — Соломбале. Вот сидим мы с ней, мирные беседы ведём, чаёвничаем, она меня обо всём спрашивает, потом — я её... И тут в гости к нам заглянула соседка. Не припомню точно, как её звали, по-моему, Валентина Николаевна, лет ей было около тридцати — тридцати пяти. Села с нами чай пить. Деловито так, по-свойски, на правах доброй соседки. Вызнала обо мне всё. О себе рассказала: работает в детской комнате милиции, устаёт сильно. Я ей сочувствовал. И как-то она чересчур уж внимательно на меня поглядывала, на мои погоны, на форму. И, уходя, сказала тётушке моей:

— Постоялец твой — пусть-ко ко мне заглянет, на минутку-другую. Есть чего ему сказать.

Обыденно так сказала, буднично. Мне не особо-то и хотелось идти к взрослой тётеньке по непонятному поводу: могла бы и при всех обсудить... Но тётушка Павла почему-то меня всё-таки спровадила к ней:

— Иди, Паша, коли зовёт. Валя — женщина справная, дурного не посоветует. Опять же — может, по международному вопросу, она такая, интересуется. И соседка она мне, негоже отказывать.

И я пошёл. Она открыла и сразу затворила за мной дверь на защёлку. Я сделал несколько шагов в комнату и стоял, не понимая, чего делать дальше. Валентина разбирала постель. В изголовье положила две подушки...

— Чего стоишь, Павлик? В ногах — правды нет, раздевайся, ложись.

Вот это да! Вот как это бывает... Мне старшие ребята рассказывали, как у них это случилось в первый раз. Без подробностей, конечно, рассказывали, у мужчин не принято обсуждать, что да как всё состоялось. Это неприлично, так как тут затрагиваются вопросы дамской чести. Я ведь будущий офицер, а офицеры свято берегут и свою честь, и женскую — это кадетам внушают с первых дней учёбы в Суворовском училище. Как-то это всё так необычно было, так неожиданно и довольно жутковато... А она, лёжа в постели, мне командовала:

— Брюки повесь сюда, гимнастёрку туда, ботинки оставь у входа, одень тапки и умойся!

Я всё это сделал. Когда вытирал тело, поглядел на себя в зеркало и услышал, как где-то рядом слышится барабанная дробь. Потом понял: это постукивают мои зубы... В постели меня встретили её объятия и длинный, обжигающий поцелуй... Мягкие, жадные губы... Когда всё случилось, она мне сказала:

— Ну, ты просто герой! Настоящий самец, где ты этому научился?

Я сгорал от стыда и помалкивал: я ведь понимал, что проявил себя как дитё малое, в постели с этой женщиной ничего не умел, она мне помогала... Просто она поддерживала меня морально, чтобы я совсем не скис. И ещё: наверное, она была добрым человеком. Так должна себя вести всякая тактичная и умная женщина.

Начался последний, третий курс в моём суворовском училище. Стоял тёплый сентябрь. Я недавно вернул-

ся из летнего отпуска, и в первые две недели крутились, как в кино, перекачивались передо мной картины промелькнувших на родине радостных денёчков. Сенокос для маминой коровы, походы на дальние озёра, ночи у костра в лесах и на морском берегу, виды военных кораблей на горизонте, жизнь в прибрежных избах, танцы и гулянки с девчонками, белые северные ночи и морская даль в сиреновой лазури... О Кате Кряжевой я теперь редко вспоминал. «Ну, было и прошло», — так говорил я сам себе. Когда шёл мимо дома, где она жила с бабушкой Феклистой, я старался не глядеть в ту сторону, не вглядываться в окна его, обращённые к морю. Я боялся вновь увидеть в них тонкий силуэт девочки, так любимой мною совсем недавно. И сердце моё то начинало бешено биться в эти мгновения, словно зайчонок в клетке, то возбуждённо и радостно звенело во все звонкие колокольцы. Наверное, тогда ещё не до конца умерла моя любовь. Она умерла чуть позже.

В конце сентября меня навестила Катя. Пришла она в удачный утренний час, когда я собирался в Летний сад на тренировку. Дело в том, что в училище я был активным спортсменом-перворазрядником, членом сборной по лёгкой атлетике и занимался бегом на средние дистанции, даже являлся чемпионом училища по этому виду спорта. А после тренировки хотел сходить в увольнение, пройтись по любимому городу. Я любил пробежки и разминки в Летнем саду. Там широкие аллеи с нетвёр-



И она посмотрела мне прямо в лицо, испытующе и просяще. Я немало растерялся: рушились все мои воскресные планы, но ситуация изменилась серьёзно, надо поддержать Катю. Она, небось, скучает без своего Александра? Конечно, скучает...

— Хорошо, Катя, я сейчас.

Увольнительная была у меня уже на руках. Мне её выдали, как и всем, уходящим в город, ещё в десять утра. Пока передевался, достал из тумбочки яблоко — заначку со вчерашнего ланча — второго завтрака — и сгрыз его на ходу, сполоснул лицо, повертелся маленько перед зеркалом: «Суворовец должен быть в городе образцом и молодцом!» — так учат нас отцы-командиры. Причесался... Ну, вроде, всё. И появился перед Катей.

Вот ведь, женская порода! Оценила взглядом, будто товар какой в галантерейном магазине, прошла по мне пальчиками: тут убрала волосинку, здесь поправила фуражку, придиричиво оглядела ботинки.

— Красавец! — подытожила она и прищёлкнула язычком.

На Садовой улице взяла меня под локоток и поинтересовалась:

— Куда же мы пойдём, Павлик?

Мне трудно было на чём-то остановить выбор. В кафе сходить предложить ей не мог — суворовцам в те времена совсем не выдавали денег, родительские давно истрачены... На лодке кататься ей, наверное, не интересно. Тем более мне вспомнилась наша прогулка по Белому морю на карбасе — с ней и Сашей...

— Ты ведь ленинградка, Катя, тебе и выбирать.

— Нет, я хочу, чтобы ты решил, ты ведь мужчина. Куда-нибудь, где народу поменьше.

Тут мне пришла в голову полусумасбродная идея — отвезти её в Павловск.

— Хорошо-хорошо, но почему именно туда?

Я сказал: там часто бываю, так как в городке этом живёт мой тренер по лёгкой атлетике, чемпион города по барьерному бегу, мастер спорта. Наша команда ездит к нему, там мы тренируемся в парке.

— Я согласна, — Катя кивнула светленькой головкой и улыбнулась.

И от Витебского вокзала мы махнули в славный пригородный Павловск, родовое гнездо русских царей. Мы сначала гуляли по дорожкам и аллеям красивого парка, любовались старыми дворцами, не вполне ещё отреставрированными после войны, стояли у прудов, смотрели, как в них плавают утки... Катя отчего-то нервничала. Голос её, как всегда прелестный, дрожал. Она перепрыгивала с темы на тему.

— Пойдём-ка вон туда... — наконец приказала она властным тоном и повела меня туда, где деревья росли гуще, где лежала широкая тень и где совсем не было людей. Совсем. Мы подошли к местечку, где под высоченной, разлапистой липой обильно рос можжевельный кустарник вперемежку с россыпями низкорослых ив и терновника. Здесь жила тишина и укромность. Человеческие голоса звучали где-то далеко, пре-

щали лишь сороки и тренькали какие-то птицы, празднующие вполне летнее тепло.

— Присядем-ка мы вот здесь, — предложила Катя и расстелила курточку у самого комля могучей липы. Она легла ярким синим пятном посреди зелёных тонов окружающего пространства.

Катя уселась на её краешек и положила ладони на слегка согнутые колени. Спокойно и как бы отрешённо смотрела в одну сторону, разглядывая что-то в глубине парковых ветвей. А я стоял рядом и не знал, что же мне делать? Всё это выглядело странным для меня, волнующим и непонятным.

— Ну, что же ты стоишь, Павлик, садись уже, — пригласила меня Катя.

Я, конечно, сел рядом. Что в этом такого? Но Катя придвинулась ко мне близко, совсем близко... Я почувствовал прикосновение её груди... Упругий бугорок этот ожёг меня, заставил учащённо колотиться сердце, пропалил тело насквозь. Жар ударил мне в голову... А Катя вдруг легла на спину и повлекла меня за собой... Я лежал грудью на её груди, и сердце моё выпрыгивало из тела. Невольно вспомнилась та давняя ситуация с Валентиной Николаевной в Соломбале. Но там было всё совсем по-другому: какая-то случайная женщина, всё просто, почти естественно. А тут —

девочка, которую я раньше бесконечно любил, несколько лет терзавшая мою слабенькую ещё душу. Моя неготовность к новым отношениям была очевидна...

Прежнее чувство вдруг вспыхнуло во мне ослепительным, испепеляющим огнём. И он снова, на одно только мгновение, ожёг грудь.

И сразу же погас он, этот огонь. И я поднялся.

— Куда ты, Павлик? Зачем? Я ведь так к тебе стремилась... Мечтала...

— Не могу я, Катя. Прости...

Она сразу же поднялась, помолчала с опустошённым взглядом.

— Я понимаю, Павлик, всё понимаю... Но я не хочу, чтобы ты на меня обижался. Я ведь знаю, за что.

И мы ушли из того уютного местечка. Такой была последняя вспышка тлеющих в сердце угольков ушедшей моей любви. Быть в той же простой, обыкновенной близости, в которую ежедневно вступают миллионы мужчин и женщин, я не захотел. Вернее сказать, просто не смог. Слишком светлой оказалась моя первая любовь. И память о ней, добрую и такую же светлую, как и она сама, я собрался нести в душе всю жизнь — ничем не запятнанной. Такую и несущую до сих пор. И тёплый свет её, похожий на свет давней, детской, ясной звёздочки над морским горизонтом — всё мерцает и мерцает во мне. И не гаснет.